

---

# О великих вопрошателях природы

Александр Федорович Котс

Хорошо известен тот извилистый окольный путь, которым двигалась наука, чтобы разгадать давнюю тайну кровной связи человека и животных.

Наподобие тому, как свойственное нашему детству чувство эмоциональной близости к животным уступает позже, в отношении большинства людей, холодному, сухому безразличию, так и в истории культуры большинства народов прежняя былая бытовая близость к миру окружающих животных стала заменяться чувством возрастающего отчуждения.

Но не менее известно, как в эпоху Возрождения мысль человеческая снова стала обращаться к познанию живой природы, то пытаясь оживить мир фантастических существ античных авторов, то с увлечением занявшись описанием реально существующих животных.

Но и там, и здесь, животный мир утратил ореол той близости к быту людей, каким он окружен был некогда во времена Овидия, или в эпоху фараонов.

И чем дальше, тем все более росла эта взаимная оторванность и отчужденность.

Возвратить эту взаимную былую близость двух миров животного и человека, не смогли ни фантастические рисунки фавнов, доживавших свой книжный век в трудах учеников Линнея, ни столь поразительные для своей поры сопоставления скелетов птичьего и человеческого в сочинении Пьера **Бэллона**, ни талантливая монография **Тизона** о Шимпанзе, ни естественно-научные работы **Гете**, лишь условно и с большими оговорками могущего быть сопричисленным к «предшественникам» **Дарвина**.

Оторванный от человека и его природы мир животных стал все более захватывать внимание ученых и любителей со стороны практической и внешнего многообразия: проблема истинной природы и происхождения животных потонула в требованиях практицизма и в великолепии фолиантов музеологов-библиофилов.

Подлинно понять этот животный мир, придвинуть его снова к миру человека, но не в свете поэтического вымысла и примитивных культов, а на базе материалистической науки, охватить весь мир живых существ, включая человечество, под знаком общего их генезиса, как единый и научно познаваемый процесс — возможным оказалось только в результате многовековых трудов плеяды «вопрошателей природы» в самых разных сферах человеческого знания.

И только постепенно выяснилось, что, как всякое природное явление и бытие, так и природу мира организмов подлинно понять возможно только в свете его **исторического** становления.

Проблема **историчности** живых существ стала венчающей в Естествознании, но возникла она лишь, как естественное завершение успехов в целом ряде дисциплин, далеких от биологических.

Понятно, почему.

История происхождения животных предварялась историчностью плацдарма, ими обитаемого, историчностью земли, а познание ее истории — историей небесных тел.

Для всех этих проблем, для их решений требовались новые пути и методы решений, о которых ничего не знали ни античный мир, ни темное Средневековье.

Таковы мотивы предпослать нашим статьям о **Дарвини** ряд беглых очерков, напоминающих о тех, кто подготавливали его приход, а частью и успех, как величайшего новатора науки о живой природе.

В заключение — еще немного слов для отведения упрека в непомерном выдвигании персонального начала при характеристике наших тринадцати великих «Вопрошателей Природы».

Существует давнее воззрение на ученых, при котором ценность и значение имеют только самые научные открытия, а не стоящие за ними авторы, и еще менее стоящие за авторами — лица.

В свете этого воззрения жизнь и личные переживания любого творческого гения довольно маловажны: всякое открытие готовится заранее, является, как бы «висящим в воздухе». Чего не сделает один ученый — вскоре сделает другой. Кто именно — науке безразлично.

Понимаемая так, наука представляется подвидом некоей «Вавилонской Башни», а ученые — безличными ее строителями, отрешенными от личных стимулов, стремлений, чувствований и порывов: абстрагированные от реальной жизни, «силуэтные» служители абстрактной истины!

Не то — для истинных историков культуры, для которых ценны не абстрактные академические «Силуэты» и не регистрация имен ученых, но живая трепетная личность, что стоит за каждым индивидуальным творчеством.

Тогда и лишь тогда духовный облик каждого героя мысли будет выразителем культуры соответственной эпохи, отблеском громадного и многогранного ее влияния на людей и общество.

---

Мы начинаем с **Аристотеля**, гиганта мысли, примирившего в хвалебном отношении к себе Восток и Запад, богословов и ученых, исламистов и католиков, схоластов и эмпириков, Кювье и Сент-Иллера, Дарвина и Маркса.

Гениальный энциклопедист, натуралист не менее, чем гуманист-философ, биолог более, чем физик, Аристотель именно в науке о живой природе выявил особенно наглядно свой великий гений, но и роковую свою связанность с эпохой, бесконечно чуждой современности.

Эмпирик-наблюдатель, он явился автором учения о «Лестнице живых существ», взаимно связанных, как звенья цепи, нечувствительными переходами.

Философ-метафизик, он развил учение о «форме» (органах живых существ), как их духовной сущности — учение о примате психики.

Но если первое учение было основано на наблюдениях, второе привносилось в первое, как умозрительное толкование.

Сын врача и ученик Платона сочетались в двойственном, дуалистическом союзе.

Но не менее известно, что как раз за эти умозрения Стагирита ухватились богословы всех мастей и толков, усмотревши в них опору для своих церковных догматов.

Потребовались слишком два тысячелетия для замещения учения о «Лестнице живых существ» учением о «Родословных Древах», для замены Аристотелевой метафизики позитивизмом Дарвина.

Но прежде, чем расстаться с Аристотелем, попробуем вообразить его конкретный образ.

Уголок афинского Ликейона. Под сенью колоннады портика, на каменной скамье — великий стагерит. Своему верному пергаменту он доверяет мысли, обращенные к тысячелетиям.

Во всей фигуре — простота, неприязательность ученого исследователя-демократа. И охваченный могучей жаждой закрепить для мира мир идей и фактов, описания несметных форм, стекавшихся со всех концов Востока, завоеванного царственным учеником, мудрец не замечает надвигающихся бурь, зловещей мглой затянувших небо, словно знаменующих собою близкое падение эллинской культуры и трагедию — изгнание и смерть ее бессмертного строителя.

---

Перенесемся мысленно за полторы тысячелетия вперед. Эпоха позднего Средневековья. Время безраздельного господства Аристотелевой метафизики и схоластического богословия, враждебного любой науке и любому интеллектуальному прогрессу.

Перед нами — новая картина.

Сумрачные стены кельи-камеры монастыря-тюрьмы, заставленные тиглями, ретортами... и среди них, как некий Фауст, согбенная, но непокорная фигура францисканского монаха, старого ученого-отшельника **Роджера Бэкона**, непризнанного гения, единолично вздумавшего бросить вызов Аристотелю.

Астроном и астролог, химик и алхимик, физик, математик и лингвист-новатор, враг схоластики и гневный обличитель богословского невежества, строптивый, боевой старик как будто сконцентрировал в себе всю тяжесть векового гнета церкви над свободой мысли и всю силу гнева против притеснителей.

Защитник экспериментальных методов и опытных наук, монах-ученый обращается впервые к доводам не слов, а чисел, к языку не страстной речи, но бесстрастных формул, — к применению математики для доказательства научных истин.

Но, увы! рожденные в тюремно-монастырском заточении идеи, методы и формулы Роджера Бэкона не в силах были пошатнуть устоев Аристотелизма и создать на его месте точную науку.

Декретивные, декларативные идеи гениального оксфордского ученого должны были уснуть на триста лет, чтобы по миновании их отлиться в небывалое научное движение.

---

В мыслях переносимся за эти триста лет вперед.

Скромная комнатка-пристройка Фрауенговской церкви. За столом, обложенном фолиантами и чертежами — изможденная фигура местного каноника.

Устало оперев о сложенные руки бледное чело, он весь во власти мысли, смелой, дерзостной, безумной, только что раскрывшейся ему посредством чертежей и формул: этот шар земной, этот дотоле неподвижный по учению богословов шар земной, он... движется, вращается... Земля — планета и подобно остальным планетам, она носится по мировым пространствам... Мысли «еретические», нечестивые, как и источники, их породившие...

Не небо звездное, мерцающее за спиной ученого, а пожелтевшие пергаменты, донесшие из глубины веков учения «язычников»: Гикета, Архимеда, Филолая, Аристарха и Селевка

Эти девициации Пифагорейцев двухтысячелетней давности, что, если их свести с математическим анализом, подвергнуть методу оксфордского отшельника?

И вот, как бы от соприкосновения двух проводов, как следствие контакта Пифагора и Роджера Бэкона, догадка стала доказательством: в ночной тиши, перед духовным взором изумленного ученого пришла в движение Земля и с нею вся культура человечества: — падение Геоцентризма, разрушение веры в откровение и в чувственное восприятие, в непогрешимость библии, авторитета Аристотеля и церкви.

Что же удивительного, если устранившись всей громадности переворота, сам его виновник медлил с обнародованием своих идей! Что смелость гения склонилась перед слабостью людской!

Известно, что в печатном виде — по красивому преданию — свой труд Коперник увидал лишь в день своей кончины, своевременно избавившей великого ученого от скорбной участи его великих продолжателей.

---

**Коперник** не был наблюдателем. В гораздо большей степени им был **Иоганнес Кеплер**.

«Дали небес измерял я при жизни когда-то...»

Эти первые строки эпитафии, составленной при жизни самим Кеплером для самого себя, мы взяли лейт-мотивом для его чарующего образа.

У приоткрытого окна — великий основатель современной астрономии. Настороженно-зорко-вдохновенно смотрит он на звездный купол северного неба. Только там, в безбрежной синеве с ее мириадами светил,

он чувствует себя хозяином и властелином, этот неудачник в жизни, без конца гонимый и умерший в положении скитальца, по родной стране.

Поэт, историк и географ, математик, физик и астроном **Кеплер**, как философ глубоко проникнут был учением о числовых соотношениях, учением о «Космосе», Вселенной, воплощаемой в Порядке и Гармонии.

Не эти ли воззрения Кеплера позволили ему интуитивно охватить проблемы, методическое разрешение которых выпало на долю будущих столетий.

В сочинениях Кеплера романтик осеняет математика. Поэт-Пифагореец подсказал проблему, гений-математик разрешил ее, дал миру те великие открытия, которые явились «вечным солнцем» Астрономии: законы обращения планет, раскрытие природы и строения комет, луны и солнца, и, конечно, всего прежде, окончательное подтверждение учения о вращении Земли, лишь в качестве гипотезы, возведенном Коперником.

И потому то так восторженно-победно и так поэтично-образно сложились заключительные гордые слова великого ученого, им помещенные в конце его бессмертного творения:

— «Здесь я пишу книгу, не считаясь с тем, кто будет читать ее, современники, или потомство; она может целые столетия ждать своего читателя, когда сам Господь шесть тысяч лет ждал того, кто бы понял Его создание.»

---

От слабовольного романтика-ученого-поэта Кеплера мы переходим к классику-ученому-поэту — **Галилею**.

Сопоставить этих двух ученых — это то же, что перевести глаза от розовеющих на утренней заре Богемских гор на огненный Везувий: так неодинаковы характеры этих двух современников, конгениальных по величию их дарований.

В мыслях переносимся от неба Праги к небесам Италии.

Аркады окон в лунном осиянии. У стола, залитого спокойным, мирным светом — гневная фигура флорентийского ученого.

С насупленным челом, опертым о порывисто и жестко сложенные руки, он во власти думы, тягостной и неотвязной.

Но о чем? Не о своих ли опытах по гидротехнике, движению маятника и падению тел, — открытиях, приведших Галилея к его славе, как сооснователя механики?

Быть может, о технических своих созданиях: Зрительной трубе и Микроскопе, вскрывших чудеса Макро- и Микрокосма?

Или о собственно астрономических своих открытиях: о Спутниках Юпитера, о Марсе, о Венере и о пятнах Солнца, — фактах, подтверждающих учение Коперника?

Или, быть может, о своих воззрениях на методы Естествознания, о роли чувственного восприятия, о роли наблюдения, о скудости Схоластики и о принципах низведения качественных свойств к количественным показателям, воззрениях, противных Аристотелизму и приведших к основанию механистического мирозерцанию?

Однако, размышляя о великих тайнах мироздания, гений не насупливает своего чела — свободно, радостно, вскрываются великие идеи гениальному мыслителю.

К тому же в мыслях о Вселенной не бывает места гневу и протесту, осеняющим фигуру Галилея: так бунтующе и гневно мыслят только о «земных делах», о людях, более того — лишь об одном, определенном человеке.

И нетрудно угадать, чье имя наполняет Галилея чувством возмущения и гнева.. имя Папы и его приспешников, пытающихся задушить свободу гения.

Снова и снова неотступно и настойчиво пытался, как известно, Галилей добиться перед Папой упразднения декрета осуждавшего учение Коперника.

Крепче и крепче стягивались пути папских палачей вокруг учения и жизни Галилея.

Ближе и ближе надвигалась катастрофа, гнусная, позорная страница человеческой культуры — вынужденного отречения Галилея от его заветных взглядов под давлением римской Инквизиции.

---

И Галилей, и Кеплер лишь с трудом спаслись от палачей церковников.

Не то — великий провозвестник нового учения, «буревестник» Возрождения наук, кометой — по сравнению Гегеля — пронесшийся по Западной Европе и как метеор сгоревший в пламени костра — **Джордано Бруно**.

В мыслях снова мы под небом северной Италии.

Венеция конца шестнадцатого века.

На воздушной вышке мраморного замка яркая фигура знаменитого исландца. Его руки сложены на парапете, а орлиные глаза устремлены далеко вдаль. В сплетенных пальцах — внутренняя собранность, в горящем взоре — фанатичная уверенность в конечном торжестве, в победе своего учения, учения о бесконечности миров, единства мира, вечности материи, только сменяемой по форме.

Тщетно это вдохновенное свое учение, смесь коперниканства и Пифагорейства, Бруно думал насаждать по университетам Лондона, Парижа, Марбурга и Праги. Огненный оратор и блестящий полемист, кумир студенчества, Джордано Бруно как противник Аристотеля и церкви, навлекал повсюду на себя гонения ученых корифеев и церковников.

Католики и протестанты конкурировали в злобе на безбожника, громившего их трусость, лицемерие и ограниченность, их страх перед свободой мысли...

— «Что мне в Вашем докторском дипломе!» — гневно говорил гонимый гений, возвращая марбургскому ректору диплом на степень доктора.. «Что пользы мне в Вашей бумажке, раз вы запрещаете свободное преподавание!»

Но вот скитания **Бруно** кончились, эти его гонения, озаряемые отсветом костров и отблеском цепей. Отважными устами пламенной души с десятков кафедр разбросаны те семена, которые взойдут спустя столетия в трудах Спинозы, Лейбница, в системах Шеллинга и Гегеля, в открытиях Кирхгофа и Бунзена.

Культурно-историческая миссия Джордано Бруно — кончена. Все сказано. Осталось лишь одно, последний довод: Смертью закрепить живую преданность идее.

И, как будто предвещая близость роковой развязки, громоздятся в отдалении кучевые облака, грозящие заволкнуть безоблачное небо.

Темные, сырые подземелья Рима и Венеции скоро закроют это небо от очей его певца и пламенного толкователя, этого «скованного Прометея», дерзостного «Фазтона», «домогавшегося вырвать вожжи у стареющих возниц средневековья, но, однако, не сумевшего направить огненных коней науки по единственному верному пути — по руслу позитивного и методического знания».

---

Итак, — вопрос о «Метод», приемах изучения позитивной, опытной наукой, встал очередной задачей человеческой культурой.

Хорошо известно, что как раз об этот недостаток метода, его неясное осознание, разбились многие усилия эпохи Возрождения, и что именно в связи с вопросом о методологии наук встает на рубеже XVI-го века спорная фигура лорда-канцлера, барона Веруламского, **Франциска Бэкона**.

И в самом деле, не легко вообразить фигуру, более характерную для той двойственной, двуликой роли, что когда-то выпала на долю автора «Нового Органона» — лорда **Бэкона**.

Вот он стоит в своем расшитом золотом придворном одеянии, в хоробах своего дворца. Змеино-зоркие глаза словно пронизывают даль веков, пророчески предвидя наступление возвещенного им господства человека над природой.

Изумительно, как в этой обрамленной кружевом, обремененной суетой придворной жизни канцлеровой голове могли усвоиться идеи, не воспринятые и доселе многими «руководящими» умами, ряд элементарных истин, вроде той, что «Истина — дочь времени, а не авторитетов», что «повелевать природой можно только, повинаясь ей», и что «в науке о природе бесполезных знаний нет!»..

Не менее известно, что борясь с предвзятостью и догматизмом, апеллируя лишь к позитивному и опытному знанию, сам Бэкон был далек от этого последнего, в широкой мере находясь под властью догматов и пред-рассудков. Не поняв ни Кеплера, ни Галилея, ни Коперника, не оценив значения математического метода, сам Бэкон лишь словесно декларировал против «словесных знаний». Обещав снабдить людей особым «методом», способным уравнивать их дарования, сам Бэкон на примере самого себя наглядно опроверг эту наивную претензию, не сделав в своей жизни ни малейшего открытия!

Прискорбное явление, увы! не раз позднее повторявшееся в науке: люди, не причастные к науке, опираясь о чужие достижения, декретируют пути научной мысли, возвещая об «особых методах», фактически сводимых либо к старым и давно известным, либо к схоластической риторике...

И если все же имя и труды Франциска Бэкона вошли в историю науки, как крупнейшее культурное событие, то потому лишь, что, как справедливо было сказано, — впервые роль защитника науки выпала на долю Лорда-Канцлера, способного не только восхвалить науку, но и узаконивать ее.

Впервые с учреждения тирании церкви над свободой мысли перед сворой палачей — гасителей научных истин, выступил достойный им противник: не идеалист-ученый, бескорыстно, пламенем души горевший за свою идею, но «лукавый царедворец»-карьерист, не уступавший иерархам церкви ни во власти, ни в иезуитизме...

Так на рубеже XVI-го века в роли покровителя науки встала, как прообраз и как символ «оказанной науки» золотом расшитая фигура просвещенного сановника, пусть неразборчивого в средствах <sup>1</sup>, но тем лучше преуспевшего в своей ближайшей роли: блеском слова (несколько подпорченного плагиатом!) и общественного положения (несколько подмоченного подкупам!) — временно ослабить гнет церковных сыщиков и облегчить победу позитивно-материалистического метода в науке.

---

От придворного ходатая науки, Бэкона — к его ученому и нравственному антиподу — **Ньютону**.

Залитый лунным светом мирный «город муз», — прославленный веками Кембридж.

Опершись об инкунабулу, стоит в раздумье тот, кто «превзошедший разумом весь род людской», — один над спящим городом, охваченный всецело мыслями о «вечном спутнике Земли», Луны, внушившем Ньютону великое его открытие: Закон Всемирного Тяготения.

Один в ночной тиши встает перед глазами нашими великий гений, на вопросы современников об обстоятельствах, содействовавших его открытиям, ответивший так просто, и так человечески: — «Я постоянно их обдумывал!»

Еще немного.. и с посеребренного сиянием луны балкона Ньютон возвратится за рабочий стол, под вековые своды своего родного колледжа, чтобы доверить торжествующим, победным формулам идеи зароненные бездонным звездным небом и луной..

Перефразируя слова забытого поэта, сказанные по совсем другому поводу; невольно хочется сказать:

---

<sup>1</sup> Эта неразборчивость путей и средств, которыми сам Бэкон домогался внешнего признания, явились лозунгом и для возвещенного им «практического знания», равно блестяще приложимого впоследствии при изобретении гильотины и гигиены, хлороформа и Иприта, электрического света, как и электрического... «стула»

«Он возвращался, он за стол садился,  
Он вычислял в восторге мировом,  
В окно к нему поток червонцев лился  
Ложился на пол золотым пятном»

Таким не отвлеченным, не оторванным от жизни, но доступным для идейных радостей, обид и разочарований, представляется нам Ньютон. Совершив свои великие открытия, сам Ньютон, как известно, так взволнован был своим успехом, что дрожа от радости, не сразу мог собраться с силами для продолжения своих работ. Известно также, как по опубликовании своих трудов, столкнувшись с завистью людской и с их бесчестной критикой, этот великий гений чувствовал себя так глубоко задетым, что решил забросить навсегда науку, без которой жизнь теряла для него значение.

И в этом смысле раннее оставление Ньютоном научной деятельности, медлительность в опубликовании его трудов и медленность их признания академической наукой получают должную разгадку и вскрывают истинных виновников: гнетущую зависимость признания новаторских идей от рутинерских школ, будь то Университетов, или «Королевского Ученого Общества».

Увы! с трудом освободившись от опеки церкви, изучение Природы обрело опеку, еще более гнетущую — опеку государственных чиновников!

---

Эта зависимость творцов науки от чиновников-ученых и — увы! — нередкое слияние обоих в той же личности, сказалась всего ярче на судьбе великого соперника и конкурента Ньютона — на **Лейбнице**.

Вот он сидит в роскошном, вычурном глубоком кресле, в стильном одеянии «придворного Советника». Еще немного и обутые в ажурные ботинки подагрические ноги двинутся по скользкому паркету, а украшенное пышным париком сухое гениальное чело покорно-льстиво склонится при первой встрече с коронованным ничтожеством.

Обидно думать, что этот великий и конгениальный Ньютону мыслитель вынуждаем был к участию в придворных маскарадах и других потехах титулованных бездельников, а после смерти, одинокой и безвестной, поносимый церковью и царедворцами, похоронен был, по свидетельству и выражению современников, скорее «как разбойник, чем как человек, украсивший свое отечество.»

Философ, математик, физик, химик, богослов, юрист, биолог, археолог и геолог, нумизматик и историк, библиограф, дипломат, политик — Лейбниц был последним энциклопедистом. В лице Лейбница, как справедливо было сказано одним ученым, человечество как бы остановилось на мгновение в своем прогрессе, чтобы взглянуть на пройденный путь, чтобы собрать в одно целое, весь итог достигнутых результатов, а затем, раздробив свою деятельность, развивать каждую науку особенным ей свойственным путем.

Но, охватив всю «мудрость века» (и, конечно с неизбежными его ошибками..) ум Лейбница пророчески-победно предвосхитил многие идеи будущих веков.

Так всего прежде в Биологии. Достаточно напомнить его верные суждения о природе ископаемых животных, об условности видовых разграничений, о допустимости местных изменений организмов и зависимости их от изменения самой Земли.

Однако, еще более, чем эти верные, но лишь попутные суждения Лейбница, сказалась на успехах биологии вся философская его система, в частности его учение о «преемственности» (пусть только в идее!) и взаимной связи организмов.

Примирительная в своей цели, синтетичная в своей основе смесь идеализма и механицизма, философская система Лейбница имела, как известно, глубочайшее влияние на биологию натурфилософов 17-го Века, явно, или скрытно предопределив идеи первых эволюционистов.

И, однако, перейти от этих неуверенных догадок Лейбница к победе эволюционного учения возможно было только при условии внесения понятия **генезиса** в проблему мироздания и при замене умозрительного метода — **научно-позитивным**.

Разрешение первого вопроса связывают, как известно, с **Кантом**, разрешение второго — с именами **Спенсера** и **Канта**.

Не легко вообразить контраст, более яркий и внушительный, чем тот, что разделяет обстановку жизни и духовный облик Лейбница и Канта.

Там, у Лейбница, стремление ко внешним почестям и пламенное честолюбие, приведшее философа в дворцовые салоны Лондона, Парижа, Вены и Берлина, к личному общению с полдюжиной монархов, к увлекательному стилю речи и письма придворного «ученого-щармера».

Здесь, у **Канта** — избегание всего, похожего на внешний блеск и подчинение всей личной жизни замкнутой, размеренной работе мысли и призванию типичного немецкого профессора со всеми его положительными и отрицательными свойствами: идеализмом цели, педантизмом формы и — увы! — тяжелым, лапидарным стилем изложения.

Полному несходству внешнего уклада жизни соответствует и внешний облик каждого из двух мыслителей.

«Der PhilosophenWeg», «Тропа философа», прославленная философская прогулка кенигсбергского отшельника.

Бледное утро северного города. Едва затронутая утренней зарею каменная высь домов, еще подернутых внизу ночной мглой.

По неровным, влажным от ночной росы панельным плитам двигается тихо и размеренно, сутулая фигура кенигсбергского ученого, тщедушная по виду, гордая и титаническая по силе духа.

Один среди пустынных улиц, одинокий со своими мыслями, бесстрастными, как это северное небо, и тяжелыми, как эти каменные плиты...

Отрешенно-безучастно к окружающему, внутренне-сосредоточенно склонилось гениальное чело, словно прислушиваясь к самому себе, словно под тяжестью хранимых дум, открыто высказанных и.. вынужденно затаенных. Может быть под бременем той горькой реплики, которой он пытался примирить себя со своей совестью, когда на подлые угрозы «Королевского Величества» и тупоумного его министра Вельнера, Кант написал: «Отречение от своего внутреннего убеждения — подло; но молчание в таком случае составляет обязанность подданного, и, если все, что говорит человек, должно быть истинно, то нельзя однако же вменить в обязанность объявлять гласно всякую истину».

Известно, что в таком именно духе Кант ответил и на «королевскую бумагу» и дотошные в вопросах формы королевские чиновники, по счастью, ограничились ею, не касаясь убеждений Канта и ближайших выводов его естественно-научных сочинений.

Именно последние труды столь высоко ценимые крупнейшими натуралистами минувшего столетия (как Гельмгольцем..), определяют место Канта, как связующего Ньютона и Дарвина.

И в самом деле. Историчность организмов требует истории Земли, последняя же в свою очередь — истории планет. Отсюда — самый план, порядок изучения этих вопросов самим Кантом.

О происхождении космоса писал тридцатилетний Кант (1755)

О генезисе рас — Кант — пятидесятилетний (1775—88 г)

Там — смелая попытка объяснения мироздания, основываясь на принципах Ньютона, здесь — робкое намерение объяснить изменчивость живых существ условиями окружающей среды.

И там, и здесь у Канта оказались видные преемники в лице астронома Лапласа, геолога Ляйелля и, наконец, биолога Ламарка, неудачного предшественника Дарвина.

И если имя **Канта**, как геолога и антрополога постигло почти полное забвение, то виною этого отчасти был и сам философ.



Хорошо известно, как в процессе своего развития географ-антрополог Кант все более растворялся в безднах умозрения, как методы реально-положительной науки молодого Канта оттеснялись методом спекулятивной философии стареющего мудреца.

Итак, опять вопрос о **Метод**е, и снова, как в эпоху Бекона, встает двуликая фигура нового обоснователя позитивизма — **Конта**.

---

В самом деле. Спорна и сомнительна в истории науки роль «Универсальных Методистов», этих мнимо подытоживающих умов, которые, не будучи учеными, пытаются быть реформаторами «научных методов», этих «философов» в «безрадостном значении слова, как людей, которые не чувствуя себя мастерами ни в какой науке, выступают судьями над всеми мастерами».

Именно таким профаном в области Естествознания и глашатаем «научных методов» был в свое время Франциск Бэкон и таким же дилетантом знания и защитником его методики был **Огюст Конт**.

Естественно спросить: Как можно, не владея знанием судить о его методах? И далее: Что нового содержится в учении Конта, или каковы те старые, но позабытые истины, которые им вскрыты из архивов человечества? В чем тайна его власти над умами некоторых современников? В достоинстве ли новых истин, или в синтезе уже известных? В высоте ли вновь возведенных им идеалов?

Хорошо известно, что на все эти вопросы суд истории дал **отрицательный** ответ.

Ни там, ни здесь **Конт** не оставил по себе открытий, или фактов, переживших своего творца. По крайней мере два известнейших «открытия» Конта, столь излюбленные им «Закон Трех Стадий» и «Классификация наук», давно лишились даже исторического интереса. Да и вряд ли оно могло быть иначе.

Математик по образованию Конт слабо ориентировался в остальных науках. Хорошо известно, как упорно он оспаривал крупнейшие открытия, отстаивая ложные воззрения, борясь с теорией эфира, отрицая целлюлярную теорию, отбрасывая эволюционную идею, отвергая Психологию, мечтая заменить ее всецело Френологией, расхваливая **Галля** и третируя **Кювье**.

Но как ни грубы эти промахи, допущенные Контом, они меркнут перед безудержной фантастикой в его «Социологии» — науки, получившей от него свое название.

Горячо уверенный — и с полным основанием! — что хаос общества есть отражение хаоса в науке, Конт, восторженный поклонник средне-векового строя, требует организации ученых и научного образования, и вообще культуры общества по образцу... Католицизма! В основном своем труде — IV-ом Томе «Позитивной философии» Конт с упоением описывает тот грядущий «идеальный» тип организации науки, при котором столь же мало оставалось бы простора для свободы мысли, как и в богословии, при котором нет и быть не может никакой свободы «убеждения, ни в Астрономии, ни в Химии, ни в Физике, ни даже в Биологии, в том смысле, что абсурдно показалось бы любому человеку не оказывать доверия принципам, установленным в науке компетентными людьми»...

Вся безграничная, бездонная и роковая чуждость Конта пониманию истинной науки, вся его антинаучность, весь его дилетантизм ярко выступают в этом скандальном «идеале». Это восхваление узаконенного гнета над свободой мысли и сомнений есть удар в лицо элементарной истине, что «все великие открытия Естествознания совершались теми, кто ни на мгновение не задумывался бросить вызов признанным авторитетам, кто придерживался правила: считать сомнение в существующем за высший долг, слепую веру в общепринятые мнения за величайший грех.»

«Католицизм минус христианство» — так справедливо была названа эта гнетущая система, восхваляемая **Контом**.

Сказанным определяется характер живописного его портрета.

В темном одеянии, в глубоком кресле, словно погруженный в медитацию, недвижно восседает мрачная фигура мнимого пророка и «первосвященника» — позитивиста — **Конта**.

Мертвенно-бледное лицо аскета с темным и тяжелым взглядом фанатичных глаз, уставленных куда-то вдаль, поверх и мимо Вас.

Во всей фигуре — своевластие и ригоризм не мыслителя-ученого, но реформатора- законодателя, пусть мало признанного, но от этого не менее уверенного в своей миссии — насильно преобразовать культуру Запада на почве позитивистического «Папства».

Именно таким научным Папой мыслил себя Конт в своем призвании, как новатора организации науки и культуры общества, могущего считать себя счастливым, что не сбылись эти Конттовские «Идеалы», по сравнению с которыми померкли бы самые тяжкие гонения на свободу мысли позднего Средневековья.

Но является вопрос: раз идеалы Конта так враждебны современности, зачем напоминать о них? Зачем нам вызывать перед собой его осмеянную тень?

Затем, что никогда, никто в науке так настойчиво так страстно не отстаивал права и цели положительного знания, как автор «Позитивной Философии». Словами русского историка, возможно, было бы сказать, что при оценке Конта следует учитывать «лишь чистоту намерений и усердие исполнения»...

И разбираемые в этом свете убеждения Конта вызывают чувства умиления и скорби: восхищения перед высотой замысла, желанием охватить весь мир и перестроить всю культуру общества на базе положительного знания и скорби о бессилии великой воли и напрасных жертвах, ею понесенных.

На тяжелой личной драме **Конта** словно отразилась вся грядущая трагедия минувшего столетия: борьба двух издавна враждующих начал — рассудочного знания и чувства.

Повторить попытку Конта в более научной форме и с предельным выключением «аффективного начала» выпало на долю **Спенсера**, как величайшего английского философа минувшего столетия.

---

За фешенебельным стулом академического Клуба («Атенеум») Лондона — типичная британская фигура **Спенсера**, виднейшего, по мнению Дарвина, — философа его эпохи.

Выразительное, бледное, бесстрастное лицо. Спокойный и холодный ум. Сухой, безличный и абстрактный стиль письма и речи. «Спенсер говорит, как книга!»... «Спенсер был не человек, но интеллект!»

Эти суждения современников, отчасти разделяемые и самим философом. Известно, как по собственным его словам, он тщетно, с детских лет пытался приобщиться к жизни чувств. И справедливо было сказано, что в продолжение всей долгой своей жизни Спенсера мы тщетно в этой его жизни стали бы искать душевных кризисов, волнений и тревог.. Полнейшая анестезия в области эмоций!<sup>2</sup>

Педантически-рассудочно-принципиально относился Спенсер ко всем радостям и горестям своей бесстрастной жизни, отвергая все дипломы, почести и звания, а перед смертью выразив желание быть погребенным без цветов, без траура, без похоронных церемоний...

А в итоге — превосходный аппарат для фабрикаций обобщений, приводимый в неустанное движение «отличным приводным ремнем» (громадной волей), обеспечившим прекрасную работу, не смотря на периодические перебои и ремонты (следствия болезней) аппарат, приведший к замечательной продукции, которой имя: «Синтетическая Философия»

Философ эволюционного учения XIX-го Века, Спенсер, как известно, положил в основу своего гигантского труда идею эволюции до выступления **Дарвина** и независимо от Дарвина.

Эту идею беспредельного развития Вселенной Спенсер планомерно и неукоснительно проводит через все науки, все проблемы, все пути и формы человеческого творчества, все стороны культуры до мельчайших фактов будничной и повседневной жизни: от вопросов о происхождении туманностей и солнечных систем, о генезисе органического мира и до эволюции душевной жизни и ее слагаемых — рефлексов и инстинктов,

---

<sup>2</sup> Вспоминая, как ребенком он однажды, утопая, был спасен от смерти посторонним человеком, Спенсер предается обсуждению вопроса, в какой мере этот рисковавший жизнью человек превосходил морально уровень других людей. Еще красноречивее.

воли, разума и чувства — от развития экономической и социальной жизни, от возникновения политических организаций индустрии, церкви, воспитания, языка, искусства и морали вплоть до выяснения вопросов о развитии различных стилей речи и ....костюмов.

Тридцать семь тяжелых лет упорного труда потребовал этот гигантский синтез, целиком направленный к единой цели — к пониманию эволюционного начала, как космического фактора, слагающего там пылающее солнце, здесь — миниатюрного жука... начала, так всецело проникающего наше мирозерцание, что мы, неблагодарные наследники этой великой мысли, склонны забывать ее истоки и ее великого защитника.

И вот, пытаюсь разгадать причины этого забвения, мы вряд ли ошибемся, полагая, что причины его коренятся не в отдельных промахх, или ошибках (неизбежных у любого автора любой системы и любой эпохи..), но в особых свойствах Спенсера, как человека и мыслителя.

Дедуктивист-философ, мастер в рассуждении о жизни, **Спенсер** в сущности был чужд реальной жизни вне ее рассудочного понимания. Читая спенсеровы книги — метко замечает выдающийся его биограф — Вас порой охватывает чувство, словно Спенсер жил по образу бесплотной тени древнего «**Аида**»: так бесстрастно-сухо-холодно-формально обсуждает Спенсер самые живые, жгучие вопросы современности.

Творец «Системы», полемист в газетах и журналах, Спенсер не был призван стать глашатаем мировоззрения, пригодного для жизни, а не только для академических дебатов.

И не потому, что основные принципы учения Спенсера, возведенные им начала «Интеграции» и «Дифференциации» так мало светят и совсем не греют, но по той причине, что живущему подобно тени «древнего Аида» не понять живой, конкретной, подлинной, реальной жизни. Потому, что «жизнь не может быть разделена на разум без остатка» (Гете).

И не потому ли эта полнокровная, живая жизнь перекинулась, перекатилась через голову ее одностороннего рассудочного толкователя и обратилась к поискам других пророков эволюционизма, в частности к великому апологету **Дарвина** и философскому его интерпретатору — **Томасу Хаксли**.

---

Выдающийся стилист-писатель и оратор-полемист, геолог и палеонтолог, физиолог и морфолог, эмбриолог и сравнительный анатом, антрополог и этнолог, медик по образованию, философ по натуре, равно сведущий в естественно-научной и гуманитарной сфере знания; педагогики, социологии, истории, литературе, этике до богословия включительно, — **Хаксли**-ученый поражает широтой своего умственного горизонта и его активного идейно-внутреннего претворения.

— «Мельчайший факт в природе есть окно, через которое возможно увидеть Вселенную» ..настойчиво и неуклонно проводился этот величавый лозунг выдающимся ученым и в торжественных речах, и в его лекциях, и в увлекательных по форме и по содержанию статьях: везде и всюду за блестящей речью, полной то пророческого пафоса, то горько проникающего юмора, нам слышится напор глубокой мысли, преломление ее сквозь величавое служение истине и правде.

Но имеется еще другая, еще более глубокая черта, связующая Хаксли и его духовный склад с духовным обликом **Спинозы** (— этого по выражению Хаксли благороднейшего из евреев и ближайшего ему по духу мыслей..): та неумолимость, с каковою Хаксли проводил свое мировоззрение не только с кафедры и в книге, но и в личной своей жизни, так полно отображаемой в его посмертно обнаруженной переписке.

Нам достаточно напомнить лишь одно письмо, помеченное столь значительным для его автора 60-ым годом столь удачливым для Хаксли, как ученого и столь трагичным в его личной жизни.

Историческая фраза, брошенная Хаксли на публичном споре нападавшему на **Дарвина** епископу Оксфорда Вильберфорсу, хорошо известна и вошла в учебники .... А многие ли знают ту другую отповедь, неслышно данную у гроба сына, эту кровью сердца писанную исповедь великого борца, на дружеский призыв со стороны, не дрогнувшего написать свой гордый и всепримиряющий отказ:

«Все убеждения мои, и позитивные, и негативные слагались медленно и долго и укоренились они крепко. От постигшего меня тяжелого удара самые основы их казались поколебленными и, живи я несколько столетий раньше, я бы мог вообразить, что диавол изде-

вається надо мною, спрашивая у меня: ради каких же выгод я отбросил от себя надежды и утешения большинства людей?»

Ему единственным моим ответом было бы тогда, как и теперь: «О, дьявол! Истина — выше выгод. Я искал обоснования к моим верованиям и если бы мне в наказание пришлось бы утратить друг за другом все — жену, детей, и честь, и имя — я бы все же устоял!»

В этих проникнутых глубоким драматизмом строках слышен голос целого столетия: протест ликующей науки, не хотящей **верить**, но хотящей **знать**! И в этом смысле Томас Хаксли больше, чем его великий подзащитный Дарвин, больше, чем какой-либо натуралист минувшего столетия, рисуется как образец ученого в условиях жизни и науки XIX-го Века.

Тем уместнее спросить: В чем сущность той научной реформации, к которой призывал своим горячим словом этот «Лессинг» девятнадцатого Века?

Из огромного научного наследия, оставленного им, мы ограничимся лишь приведением двух его высказываний.

Всего прежде, в замечательном его труде, опередившем Дарвиново «Происхождение Человека».

«Место Человека в Природе» таково заглавие, этой эпохальной книги Хаксли, наиболее известной из всего написанного им, и в сущности единственной, когда-то хорошо знакомой и читателям России.

Выражаясь кратко, в книге этой **Хаксли** доказал **научно общность генезиса двух миров: животного и человека**.

В первый раз за всю историю человечества, столь близко некогда стоявшие к нему, а позднее столь далеко отодвинутые от него животные, опять придвинулись и стали рядом с человеком, как немые, молчаливые свидетели былого общего происхождения.

И то, что так опасно и робко не решались высказать два замечательных рисунка у **Бэлона** — (павшего так своевременно от рук убийц, чтобы избежать более гнусных рук «святейшей Инквизиции»); что преднамеренно завуалировано было в сочинениях Бюффона и Ламарка и так многозначно зашифровано в гекзаметрах у Гете, — кровная близость и единство генезиса человека и животных получила у британского ученого свое открытое и четкое **научное** обоснование.

Но высказать открыто это положение, наперекор ханжам «благонамеренного» общества, возможно было лишь, руководясь девизом, освещавшим жизнь и творчество великого ученого.

Из множества высказываний **Хаксли** по вопросам о руководящих методах науки и культурного служения, быть может, ни одно другое не звучит так убедительно, так своевременно, как затерявшееся в уже упомянутом письме:

«Склонитесь перед фактами, как малое дитя, будьте готовы отказаться от любого пред-  
рассудка, следуйте покорно, куда бы и к каким бы безднам вас ни привела природа, —  
иначе ничему вы не научитесь!» («Жизнь и письма», Том I. стр. 213)

И, допуская даже, что при обсуждении последних достижений или выводов Естествознания сам **Хаксли** не всегда сумел быть верным этому суровому наказу (что и привело его — увы! — к Агностицизму.), следует признать, что как анатом и биолог, он и только он один, явился главным и решающим апологетом **Дарвина** и дарвинизма в мировой науке, обеспечив навсегда победу эволюционного учения, как естественно-научной базы современного научного мировоззрения.

Более того. Из всех великих вопрошателей природы **Томас Хаксли** и быть может, он один уверенно и близко подошел к последним выводам идеи эволюции, раскрытие которых есть задача настоящего двадцатого столетия, удел которого — расширить, углубить, достроить эволюционное учение на базе положительного знания, закончить, завершить борьбу за «интеллектуальную свободу».

Таковы отдельные этапы эволюции научной мысли стадии, ступени эволюции науки на пути к победе эволюционного учения.

От **Аристотеля** с его двуликим обликом эмпирика метафизика к **Роджеру Бэкону**, великому новатору, пытавшемуся силой чисел сбросить иго стагирита и схоластики; отсюда — к замечательной триаде классиков естествознания: **Кеплеру**, **Копернику** и **Галилею**, этим подлинным обоснователям позитивизма; через героическую тень **Джордано Бруно**, романтического пророка будущей науки к ее трезвому придворному защитнику — **Франциску Бэкону**; — отсюда к величайшему из классиков Естествознания — **Ньютону**, отсюда к двум последним энциклопедистам — **Лейбницу** и **Канту** — смелым метафизикам и робким эволюционистам, через мнимого обоснователя Позитивизма и антиэволюциониста **Конта** к эволюционисту и позитивисту **Спенсеру** и до крупнейшего из дарвинистов — **Хаксли**.

Такова плеяда из 13 умов, неравноценных по таланту и значению своему, но опустить которых не имел бы права ни один историк эволюционизма.

И напомнить главные этапы достижений в области науки, предваривших самую возможность дарвинового подвига, обрисовать немногими штрихами образы «великих вопрошателей природы» в их высоком **жертвенном** служении — и составляет цель наших тринадцати характеристик: скромной прелюдии последующих очерков, всецело посвященных **Дарвину** и **Дарвинизму**.

---

**Аристотель** /384 — 322 до н. э./ ???

**Рожер Бэкон** /1214 — 1294/???

**Кеплер** /1571 — 1630/???

**Коперник** /1473 — 1543/???

**Галилей** /1564 — 1642/???

**Джордано Бруно** /1548 — 1600/???

**Франциск Бэкон** /1561 — 1626/???

**Лейбниц** /1646 — 1716/???

**Кант** /1724 — 1804/???

**Конт** /1793 — 1857/???

**Спенсер**???

**Томас Гексли** /1825 — 1895/???